

МЕЛКИЙ РЕМОНТ · КНИГА ВТОРАЯ

СЧИТАЛКА



Сергей Коновалов

Сергей Коновалов

Считалка

«Автор»

2026

Коновалов С.

Считалка / С. Коновалов — «Автор», 2026

В посёлке Шалга на Онежском озере комбинат закрыли девять лет назад, а котельная осталась одна на четыреста двадцать человек. Механик Алексей Пятков приехал на две недели перебрать котлы. Если они встанут, посёлок вымерзнет за сутки, и уехать он уже не сможет — что бы здесь ни происходило. За десять дней в Шалге погибают трое. Каждая смерть ложится на строчку старой сплавщицкой считалки, которую тут знает наизусть любой ребёнок: первому — вода, второму — дым, третьему — колесо. Посёлок отсчитывает следующую строку, вычисляет, где будут убивать, и всю ночь стережёт это место. А утром находят другого — в другом месте и другим способом. Потому что считалку в Шалге помнят неправильно. Все улики лежат на виду с первых глав. Разгадку можно вычислить раньше, чем её произнесут вслух.

© Коновалов С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	13
Глава 4	17
Глава 5	22
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Сергей Коновалов

Считалка

Глава 1

Шалга

Зимник шёл через вырубку, и на вырубке было светлее, чем в лесу, потому что снег лежал ровно и отражал то немного, что осталось от дня.

Половина четвёртого. Солнце ушло час назад.

Пятков ехал на второй передаче и следил не за дорогой, а за температурой. Двигатель на таком морозе остывал на ходу, если сбавить, и приходилось держать обороты, даже когда не хотелось. Печка работала на полную и грела примерно до колен. Выше колен было холодно.

На восьмидесятом километре кончилась вырубка, и с бугра стало видно озеро.

Онега зимой не была похожа на воду. Она была похожа на поле, которое кто-то очень долго и очень плохо расчищал: белое с серыми надувами, и торосы у берега лежали грязной гребённой. Другого берега не было. Другого берега тут не бывает.

Посёлок стоял между лесом и озером, боком к дороге.

Сначала пошли дома — деревянные двухэтажки на восемь квартир, обшитые вагонкой, у половины окна забиты фанерой. Потом магазин с крыльцом под жестяным козырьком. Потом пустая площадь, на которой стояли автобусная остановка и щит без объявлений.

А над всем этим, слева, лежал комбинат.

Он был больше посёлка раза в три. Корпуса, эстакада, две трубы, козловой кран над бывшим складом. Стёкла выбиты все, до последнего, и в дырах было темно, как в дырах и бывает. Снег лежал на транспортёрной галерее ровным валиком.

Пятков сбросил до первой и поехал вдоль забора.

Он видел такое пятнадцать раз и всё равно каждый раз смотрел.

Администрация помещалась в пристройке к бывшему заводууправлению, и там горел свет. Пятков вылез, и мороз взял его за лицо сразу, как берут за шиворот.

Термометр на стене показывал двадцать восемь.

— Пятков? — сказал человек в дверях. — Пятков Алексей?

— Да.

— Долго. Мы вас со вторника ждём.

— Дорогу чистили в понедельник, я по колее шёл.

— Ну идёте.

Человека звали Павел Игнатьевич Сурин. Ему было за шестьдесят, он был крупный, в свитере и в галстук под свитером, и он занимал в этом посёлке должность, которой у него не было. Комбинат закрыли девять лет назад, вместе с комбинатом закрылась должность главного энергетика, а Сурин остался, и остальные четыреста человек по-прежнему ходили к нему.

В кабинете было жарко.

— Сколько вам лет? — спросил Сурин.

— Двадцать пять.

— Мне обещали специалиста.

— Я специалист.

Сурин посмотрел на него ещё немного и не стал спорить, потому что спорить было не с кем: других не прислали и не пришлют.

— Ситуация такая. — Он развернул на столе схему, старую, синьку, с обломанными углами. — Котельная девятьсот семьдесят четвёртого года. Два котла, «Универсал-шесть». Один работает, второй с ноября стоит, потому что течёт задняя стенка. Живём на одном.

— Понятно.

— Ничего вам не понятно. — Сурин ткнул пальцем в схему. — На этом котле сидит посёлок. Четыреста двадцать человек, школа, ФАП, магазин, водокачка. Если он встанет, у нас через восемь часов трубы, а через сутки посёлок. До райцентра восемьдесят, автобус во вторник и в пятницу. Никто сюда не приедет, Алексей. Никто сюда никогда не приезжает.

— Я понял.

— Вот теперь понятно. — Сурин свернул синьку. — К двадцатому чтоб оба.

— Посмотрю, что там, тогда скажу.

— К двадцатому, — повторил Сурин таким тоном, будто это была не просьба, а погода.

Общежитие стояло за школой: длинный барак с крашеным коридором и умывальником в конце. Комнату дали угловую, с батареей, которая грела хорошо, и с окном, промёрзшим до половины. На подоконнике с той стороны намело.

Пятков поставил сумку, снял куртку, повесил на гвоздь и пошёл в котельную, потому что посмотреть комнату было нечего, а котельную надо было увидеть сегодня.

Идти было триста метров.

Снег скрипел не как в городе. В городе он хрустит, а тут, при двадцати восьми, он визжал под валенком тонко и коротко, на одной ноте.

Котельная была кирпичная, приземистая, с одной трубой и с горой шлака у восточной стены. Гора была старая, слежавшаяся, и её обдуло до чёрного. Ворота примёрзли снизу, и он открыл дверь сбоку.

Внутри стоял гул.

Это был хороший гул, ровный, тот самый, который слышно во всём посёлке и который никто не замечает, пока он есть. Пахло горячим железом, соляжкой и мокрым шлаком.

Человек у щита обернулся.

Ему было лет тридцать пять, он был в ватнике поверх свитера и в кирзачах, и он держал в правой руке совок. Левая была в кармане.

— Пятков, — сказал Пятков.

— Роман.

Они не стали пожимать руки, потому что у обоих были заняты.

— Из области?

— Из Петрозаводска. Вообще откуда придётся.

— Ага. — Роман поставил совок к стене. — Ну смотри.

Он показывал молча и хорошо: не объяснял того, что видно, и не пропускал того, чего не видно. Первый котёл работал. Второй стоял холодный, с распахнутой дверцей, и внутри было мокро.

Пятков присел, посветил фонарём и минуту молчал.

Задняя стенка была не «подтекающая». Задняя стенка уходила.

— Давно так?

— С ноября.

— И что говорили?

— Говорили — на лето.

Пятков ещё посветил, выключил фонарь и встал.

— На лето не будет.

— Ага, — сказал Роман без всякого выражения. — Я тоже так думаю.

Он подошёл к работающему котлу, открыл дверцу, и в лицо им обоим пошло красное. Он бросил внутрь три совка, закрыл, потянул рукоятку поддувала и вытер лоб.

Правая рука у него была голая. Рукавица висела на гвозде одна.

Левую он держал в кармане, а когда доставал — доставал ненадолго, и тут же клал ладонью на трубу обратки и держал так, как держат ушибленное место.

— Мёрзнет? — спросил Пятков.

— Ага.

— От чего?

— Да так, — сказал Роман. — Давно.

Он взял совок в правую и пошёл к бункеру, и на этом разговор кончился.

Пятков обошёл котельную сам. Насосы. Расширительный бак. Щит, собранный из трёх разных щитов. Доска у входа, где на гвоздиках висели ключи с картонными бирками, надписанными от руки: «школа», «музей», «ФАП», «магазин», «клуб», «водокачка». Котельная топила всё это, и от котельной у неё были ключи.

Он постоял у доски секунды две и пошёл дальше.

В углу, за насосами, мыла пол женщина лет шестидесяти. Она возила тряпкой по бетону, отжимала в ведро и возила снова, и на них не посмотрела ни разу.

— Здравствуйте, — сказал Пятков.

Она не ответила.

Он подождал, потом отошёл.

— Не обижайся, — сказал Роман от бункера. — Она ни с кем.

— Совсем?

— Совсем. — Он опрокинул совок. — Вера Максимовна. У неё сын утонул.

— Давно?

— В седьмом.

Пятков кивнул и больше не спрашивал, потому что тут не спрашивают.

Он вышел на улицу в десятом часу.

Мороз за это время сел ещё, и это чувствовалось не кожей, а в носу. Над посёлком стояло чистое небо, и звёзд было столько, сколько бывает только там, где нет фонарей: их было неприлично много, и они были разного цвета.

Из трубы котельной шёл дым — прямой, белый, без наклона.

Пятков посмотрел на него, как смотрят на манометр, и пошёл в общежитие спать.

Глава 2

Котлы

В восемь утра было так же темно, как в три ночи.

Термометр на углу общежития показывал тридцать один. Пятков прошёл триста метров, дыша в воротник, потому что первый воздух на таком морозе всегда лишний, и открыл боковую дверь котельной.

Внутри было двадцать шесть у щита и сорок у котла. Другой географии в этом помещении не имелось.

Сменщик стоял уже одетый. Его звали Витальич, ему было под пятьдесят, шапка сидела на бровях. Он подал Пяткову журнал, потому что решил, что раз приехал специалист, то и журнал теперь его.

— Ночь ровная, — сказал он. — В пятом часу подкидывал.

— Подпитка?

— Долил полторы.

— Полторы чего?

— Бочки.

Бочка стояла за подпиточным насосом. Два куба, сваренная из двух, с меловыми отметками по боку: четверть, половина, три четверти. Кто доливал, тот ставил в журнале палочку.

— Спасибо, — сказал Пятков.

Витальич ушёл. Дверь стукнула, и по полу от неё пошёл белый язык.

Роман пришёл ровно в восемь и сразу взял совок, как берут вещь, которую вчера положили на то же место.

Пятков унёс журнал под лампу и пролистал назад, до ноября.

Журнал вели честно. Каждые два часа — подача, обратка, давление, топливо, подпитка. Почерки менялись, цифры нет. Подача держалась семьдесят восемь, обратка пятьдесят шесть, давление на котле два и шесть. И почти в каждой смене стояли палочки.

Он сложил ноябрь. Вышло около трёх кубов в сутки. Сложил январь. Вышло четыре.

Система на такой посёлок должна была брать полкуба в неделю.

— Сколько она берёт? — спросил Пятков.

— Много, — сказал Роман.

— Где течёт?

— Везде.

Это был правильный ответ, и на нём разговор кончился, потому что дальше надо было не говорить, а ходить с фонарём по подвалам.

Работающий котёл был первый. «Универсал-шесть», чугунный, набранный из секций на ниппелях, стянутый шпильками, обмурованный по бокам кирпичом. Ему было тридцать три года. Он стоял на своих колосниках, гудел ровно и на человека рассчитан не был.

Роман открыл дверцу, и в лицо пошло красное.

Слой на колосниках был серый, местами спёкшийся коркой. Роман взял шуровку — длинный прут с приваренным крючком — и разбил корку в трёх местах: не по всей топке, а там, где она держалась. Огонь под ней стоял белый.

— Тонко кидай, — сказал он. — Кучей кинешь — задавишь.

Пятков взял второй совок и кинул.

Кинул плохо. Уголь лёг горкой у порога и сразу задымил чёрным.

— Веером, — сказал Роман. Он не оборачивался.

Со второго раза получилось. С четвёртого стало выходить само.

Они выгребли зольник, и Роман подкатил тачку раньше, чем Пятков успел её поискать. Тачка была старая, с приваренной поперечиной вместо ручки.

Шлак вывезли к восточной стене и вывалили на гору. На улице он парил. Он был серый, лёгкий, с оплавленными кусками, похожими на пемзу, и, ложась на снег, съедал его до земли. От горы тянуло мокрым и тёплым. Пятков посчитал в уме, сколько это угля за зиму, и покати тачку обратно.

Ворота обмёрзли снизу так, что нижняя кромка вросла в наледь. Наледь была от пара: за ночь дверь дышала, и на пороге нарастало.

К десятому часу стало сереть. Свет тут вставал не сбоку, а откуда-то из-под низа, и всё делалось видно сразу и ненадолго. Пятков посмотрел на часы. До половины третьего.

Второй котёл они смотрели до обеда.

Он стоял холодный с ноября, дверцы настезь, внутри пахло погребом. Пятков отболтил фланец на обратном патрубке, посветил и минуту не говорил.

Внутри был слой. Серо-рыжий, плотный, с ноготь толщиной, и на изгибе он шёл волной, как идёт известковый натёк.

Он отколол кусок отвёрткой и положил Роману на ладонь.

Роман взял правой.

— Что это?

— Накипь. Она его и убила.

— Не стенка?

— Стенка потом. — Пятков постучал отвёрткой по чугуну. — Слой не пускает тепло в воду. Тепло остаётся в железе. Железо ведёт. Где повело, там и пошло по ниппелю. Он не гнилой. Он перегретый.

— И сколько она тут росла?

— Тридцать три года.

Роман подержал кусок на ладони и положил на верстак.

— Воду откуда берут?

— С водокачки. Как есть.

— Жёсткая?

— Чайники белые, — сказал Роман. — За полгода как штукатурка.

Значит, жёсткая. Значит, каждая палочка в журнале — это ещё немного накипи, и подпитка убивала котёл теми же кубами, которыми его спасала.

Пятков записал это на обороте журнальной обложки. Он записывал сразу, потому что к вечеру формулировка портится.

В двенадцатом часу пришёл мужик из администрации в дублёнке поверх спецовки, кивнул Роману, снял с доски у входа ключ с биркой «клуб» и вышел. Бирки были картонные, надписанные шариковой ручкой, и висели на гвоздиках в один ряд: «школа», «музей», «ФАП», «магазин», «клуб», «водокачка». Через час ключ висел на месте.

Он же и сказал, ещё в дверях, что завтра в столовой стол по Ирине и что тепло на столовую надо дать сегодня.

Ветку на столовую отсекли осенью, и она стояла пустая. Пятков открывал задвижку медленно, по четверти оборота, слушая, как в трубе за стеной идёт вода, потому что если пустить сразу, то холодную ветку рвёт на поворотах. Роман ушёл в столовую стравливать воздух и вернулся через сорок минут с мокрыми рукавами.

— Взяло, — сказал он.

Столовая забрала полбочки. На манометре просело на две десятых, и в школе, которая сидела на том же кольце, второй этаж стал брать хуже.

Роман снял с доски ключ с биркой «школа» и ушёл, не сказав ничего, потому что и так было понятно, куда и зачем. Через полчаса он вернулся, повесил ключ на гвоздик, второй справа, и взял совок.

— Пошло?

— Пошло. В спортзале не пошло. Там с ноября мёртвая ветка, её летом надо.

— Летом её и надо.

— Ага, — сказал Роман.

После обеда, пока было светло, Пятков сходил на водокачку.

Днём посёлок был другой, чем из машины. Две линии двухэтажек, между ними тропа шириной в одного, снег по бокам выше пояса и слежавшийся до синевы. У третьего дома стояли санки. Собака шла за ним полтора квартала, потом отстала и села.

На двери ФАПа висел замок и лист бумаги в файле: «ФАП закрыт. По неотложным — Пудож, скорая». Бумага была новая, файл уже помутнел от мороза. Замок был хороший, накладной, и повешен ровно — так вешают, когда вешают надолго.

Водокачка стояла за бугром, в трёхстах метрах, и к ней шли две дороги: длинная, объездом, и короткая, через бугор, натопанная в снегу до желобка.

Он набрал воды в банку из-под майонеза, чтобы посмотреть её на свету и на мыло, и обошёл здание.

Насосная была рядом, в пристройке. Дверь примёрзла и не закрывалась. Внутри стояли два насоса, один разобранный, и в полу был приямок метра два на полтора: бетонный колодец, залитый водой почти вровень с краем, и вода в нём была тёмная и не замёрзшая, потому что рядом шла тёплая труба.

Через приямок поперёк лежала доска.

Крышки не было. Не было и решётки, и по краю бетона видно было, где она стояла: четыре обломанных уголка и следы анкеров.

Пятков постоял, посмотрел и записал в блокнот: «решётка на приямок, лист три, уголок». Он записывал так дефекты пятнадцать лет подряд с восемнадцати и не делал разницы между приямком, задвижкой и оторванной ступенькой.

Потом взял банку и пошёл обратно.

Пока не стемнело совсем, он залез в два подвала.

В первом было сухо. Задвижка на вводе потела по сальнику, и под ней на бетоне стояло рыжее блюдце сантиметров в двадцать. Пятков подтянул сальник на четверть оборота, подождал, подтянул ещё и записал в блокнот: набивка, ввод, дом четыре.

Во втором подвале была вода. Она стояла по щиколотку и не уходила, потому что уходить ей было некуда, и поверх неё плавала чёрная вата разлезшейся изоляции. Он посветил вдоль трубы и нашёл: на фланце обратки, из-под прокладки, била струйка толщиной со спичку и била в стену, и стена в этом месте была тёплая и мокрая, а выше — в бурых потёках, наросших слоями за несколько зим.

Он посчитал грубо. Такая струйка даёт куба полтора в сутки.

Хомута с собой не было. Он замотал фланец жгутом из мешковины поверх проволоки, затянул пассатижами, и струйка стала каплей. Это держало бы недели две.

Третий подвал был заперт на амбарный замок, и ключа от него не было ни на доске, ни у кого. Пятков постоял у двери и послушал. За дверью текло.

Он вернулся в котельную в пятом часу, с мокрыми по колено штанами, и сначала переобулся, а потом уже записал.

Вера Максимовна мыла пол в проходе между насосами.

Она возила тряпкой по бетону короткими движениями, отжимала в ведро, возила снова. Ей было под шестьдесят, платок был завязан по-рабочему, назад.

— Здравствуйте, — сказал Пятков.

Она не ответила. Она не подняла головы и не сделала паузы.

Роман, не глядя, откатил тачку с прохода и поставил её к стене. Он сделал это до того, как женщина дошла до тачки. Она вымыла место, где тачка стояла, и пошла дальше.

Пятков больше не здоровался.

Чай пили в шестом часу, за столом у щита, из двух кружек, кипятков из бака. Уже опять было темно.

— На водокачке прямоок открытый, — сказал Пятков. — Крышку сняли, решётку сломали. Доска положена.

Роман поставил кружку.

— Там четыре дня назад человека вынули, — сказал он. — Ирина Пахомова, фельдшер. Шла ночью с вызова и срезала через бугор, там короче метров на двести. Поскользнулась.

— Глубоко?

— Метра полтора.

— Сколько ей было?

— Тридцать три.

Пятков кивнул.

— Зимой всегда кто-нибудь, — сказал Роман тем же голосом. — В декабре Лёха Косой замёрз, двести метров от дома не дошёл, сидя. Летом двое на рыбалке. Тут четыреста человек, а хоронят каждую зиму по три.

— Решётку так и не поставили.

— Нет.

— Поставим.

— Поставим, — согласился Роман и допил.

Ночной ход он показал в седьмом часу, когда мороз пошёл вниз и на манометре стало видно, как система забирает.

— Днём просто держишь. Ночью мороз садится к пяти, самое дно — пятый час. Если в двенадцать натопил и лёг, к пяти у тебя обратка сорок и школа с утра холодная.

— Значит, к ночи выше.

— К ночи выше. Кладёшь толще, шибер прижимаешь, поддувало на палец. Горит медленно и всю ночь. В четыре встаёшь и шуруешь. Не кидаешь — шуруешь. — Он показал шурувкой, коротко, снизу вверх. — Потом кидаешь.

— А если проспал?

— Не проспишь.

Он сказал это без нажима, как говорят про вещь, которую проверяли много раз.

Пятков продул грязевик перед насосом. Вентиль пошёл туго, потом сорвался, и в подставленное ведро ударила бурая каша с песком и хлопьями ржавчины. Пар встал до потолка. Он продувал, пока не пошло чище, закрыл и посмотрел на манометры до и после насоса. Разница стала на две десятых больше.

— Работает, — сказал Роман.

— Это на неделю. Через неделю опять нанесёт.

— Всё на неделю, — сказал Роман.

Он вынул левую руку из кармана и положил ладонью на трубу обратки, чуть выше фланца, где всегда было градусов пятьдесят. Подержал, сколько было нужно, и убрал.

— На комбинате в третьей котельной такие же стояли, — сказал он потом, уже от бункера. — Четыре штуки. Их не разбирали.

— Целые?

— Не знаю. Стоят.

В восемь Пятков заполнил журнал. Подача восемьдесят один. Обратка пятьдесят девять. Давление два и шесть. Топливо — две тонны с четвертью. Подпитка за смену — четыре и три, из них полбочки ушло в столовую.

Он записал цифры, поставил подпись и подвинул журнал Роману.

Роман расписался ниже.

Глава 3

Девятины

Последним уроком было чтение, и читали про Филипка.

У Ани в классе сидели одиннадцать человек: второй и четвёртый вместе, второй у окна, четвёртый у стены. Второму она давала задание, поворачивалась к четвёртому, потом обратно. Так работали все, кроме математички, которой досталось три класса сразу.

В половине третьего за окном уже было сине.

— Дежурные — стулья. Остальные оделись и пошли.

Дети одевались долго, потому что одевать на такой мороз приходилось много. Аня стояла в дверях и считала шапки. Считать шапки было привычкой, от которой она не собиралась избавляться.

Одиннадцать. Двенадцатая, Ковалёва Соня, второй день не ходила: у них дома было плюс девять, и мать оставила её сидеть у печки.

В школе с утра тоже было не жарко. Первый этаж грелся, второй грелся хуже, а в спортзале батареи стояли холодные с ноября, и физкультуру Аня вела в коридоре: приставные шаги, эстафета с мешочком, «третий лишний». В классах дети сидели в кофтах, и это было нормально, и родители не жаловались, потому что дома у них было так же.

Вчера в школу приходил Дудин с ключом, спускал воздух, и после этого на втором этаже стало ощутимо теплее. Аня сказала ему спасибо. Он сказал, что это не он, а воздух.

Музей был в конце того же коридора, в бывшей пионерской комнате, и держала его Аня, потому что держать было больше некому. Три стенда: комбинат, война, сплав. Две витрины под стеклом; в одной лежали багор, кованая скоба и обломок клейма, которым метили брёвна. В шкафу стояли папки с фотографиями, тетрадями и списками, и папок было больше, чем стендов, потому что посёлок нёс ей всё, что находил при переезде или на чердаке, и выбрасывать при ней стеснялись.

Детей в школе было сорок. Когда Аня пришла сюда работать, было сто десять.

Столовую бывшего комбината топили два раза в год.

Она стояла у проходной, длинная, с окнами в четыре ряда, и в ней когда-то кормили в три смены. Теперь её открывали на выборы и на поминки. Накануне из котельной пустили тепло на эту ветку, и за сутки помещение взяло градусов двенадцать — не тепло, но и не мороз; в пальто сидеть можно.

Столы сдвинули в два ряда и накрыли клеёнкой.

Аня пришла в четыре, потому что раньше не могла, и застала уже почти всё готовым. Женщины резали хлеб. На столах стояли кутья в мисках, кисель, рыбник, разрезанный попёрёк, чтобы всем досталось спинки, калитки на противнях, солёные грузди в трёхлитровых банках и водка — по бутылке на четверых, как считали здесь испокон.

Тамара Максимовна Лоскутова, библиотекарь, семьдесят один год, ставила стаканы и была недовольна.

— Какие ж это девятины, — сказала она. — Девятины во вторник были.

— Так во вторник хлеба не было, Тамара Максимовна.

— Хлеба не было, — согласилась она. — И людей не было, все на дровах. Я и говорю: это не девятины. Это стол.

На том и сошлись.

Народу набралось человек восемьдесят. Для Шалги это означало, что пришли все, кто мог прийти.

Мать Ирины, Нина Петровна, сидела с краю у торца, маленькая, в чёрном платке, и было видно, что ей уже нечего сказать и она это отработала: она приехала на похороны, потом уезжала, потом приехала опять, и теперь просто сидела. Рядом с ней сидела Лоскутова и подкладывала ей на тарелку.

Сурин встал первым, потому что вставать полагалось ему.

— Ну, — сказал он и подождал, пока стихнет. — Ирина Николаевна работала у нас девять лет. Приехала после училища и осталась, а это уже поступок, потому что кто к нам едет. Она ходила по вызовам ночью пешком, и никто из здесь сидящих ей за это не платил.

Он помолчал.

— Плохо, что так. И плохо, что теперь мы без фельдшера. Я на район писал и буду писать. Ну. Пусть земля будет пухом.

Выпили стоя, не чокаясь.

Потом её стали вспоминать, и вспоминали так, как вспоминают человека, которого знали по делу.

— Она мне Мишку зашивала, — сказала женщина из первого ряда. — Он с крыши, лбом об угол. Ночь была. Я стучу, а у неё свет уже горит, будто ждала.

— Она всегда со светом сидела.

— Она в позапрошлом году Клавдию до района довезла на лесовозе. На лесовозе, в кабине, с давлением. Довезла ведь.

— А зубы кто драл? Она и драла.

— Она не драла, она замораживала и велела терпеть до автобуса.

Кто-то засмеялся и сразу перестал смеяться.

Потом сели, и через десять минут в столовой стоял ровный гул, как всегда бывает: сначала тихо, потом громче, потом уже про своё. Говорили про дрова, про то, что в магазине третью неделю нет крупы, про то, что автобус в пятницу пойдёт или не пойдёт, и опять про то, что фельдшера теперь нет и до района восемьдесят.

— У Кулаковых дед лежит, — сказала женщина напротив Ани. — Кто ему уколы будет? Я не буду, у меня рука не поднимется.

— Учиться придётся, Галь.

— Вот и научусь. Куда денусь.

Аня села с краю второго ряда, у окна.

За этим столом было холоднее — от окна тянуло, и потому туда никто не хотел, и потому туда сели те, кто пришёл позже. Молодых в Шалге было мало, и они всегда оказывались вместе, не потому, что дружили, а потому, что их было мало и сажали их всегда в конец.

Их оказалось пятеро.

Сергей Мокшин пришёл прямо из рейса — от него пахло соляжкой, и он сел, не сняв свитера, широкий, красный с мороза, и сразу занял место разговора. Елена Ткачук пришла из магазина, закрыв его на час раньше, и в столовой все это знали и никто не сказал. Костя Пестов сел напротив, положив на клеёнку руки, изрезанные леской и подмороженные, и весь вечер молчал, если его не спрашивали. Роман Дудин пришёл последним, со смены: он был в чистой рубашке под свитером, а от рук у него всё равно шло углём.

Аня знала их всех с первого класса, как знают в посёлке на четыреста человек.

— Аньк, — сказал Мокшин, наливая ей полстопки без спроса. — Слушай, а моего Витьку на кой в этот колледж гонят? Ему техникум нужен, лесной. Он же руками может.

— В лесной тоже экзамен, Серёж.

— Так пусть сдаёт.

— Пусть сдаёт. Только для этого надо ходить в школу, а он у тебя третью неделю через день.

— Ага, — сказал Мокшин с удовольствием. — Весь в меня.

Пестов сказал, что лёд встал хорошо и что окунь берёт на Кобыльем, но мелкий, а крупный ушёл. Мокшин сказал, что рыба — это не работа, а болезнь. Пестов не обиделся.

— В субботу баню топлю, — объявил Мокшин на весь конец стола. — Кто хочет, приходите. Костя, ты приходи, от тебя рыбой несёт за версту.

— Приду, — сказал Пестов.

— Ром, ты?

— Смена.

— У тебя всегда смена.

— У меня всегда смена, — согласился Роман.

Мокшин махнул рукой и стал рассказывать, как в прошлом году вёз лес по зимнику и на сорок первом километре встал, и как отогревал топливо паяльной лампой, и что паяльная лампа в хозяйстве нужнее жены. Он рассказывал громко и с удовольствием, и его слушали, потому что рассказывал он хорошо и потому, что за столом лучше слушать про паяльную лампу, чем молчать.

— Ром, — сказал Мокшин через стол. — А правда, что вам мужика прислали котлы чинить?

— Прислали.

— И чего он?

— Работает.

— Молодой?

— Двадцать пять.

Мокшин присвистнул и налил себе.

— Двадцать пять. Я в двадцать пять уже второго ждал. — Он покачал головой. — А починит?

— Посмотрим, — сказал Роман.

Он говорил мало и ел мало, и это было на него похоже. Аня подумала, что месяц назад он сидел в этой же столовой, только тогда стол был по его матери, и что в Шалге за зиму собираются по одному и тому же поводу и в одном и том же помещении.

Елена Ткачук пила быстро.

Она наливала себе сама, что здесь женщине делать было не то чтобы нельзя, но заметно, и наливала не в стопку, а в чайный стакан на треть. Между второй и третьей она даже не закусила, только положила в рот кусочек хлеба и сразу вынула. Говорила громко, смеялась не там, где смеялись все.

И всё время смотрела на Романа.

Не украдкой — прямо, поворачивая голову. Он отвечал что-то Мокшину, а она смотрела ему в лицо и ждала, будто он должен был сказать что-то ещё, и он не говорил, и она наливала снова.

Про них двоих в посёлке когда-то говорили. Лет пять назад или шесть; тогда это обсуждали месяца три, потом надоело, потом появилось другое. Аня подумала, что, наверное, зря говорили, а если и не зря, то это было давно и уже никого не касается. Через два стола от них сидела Оксана, жена Романа, с матерью, и раскладывала калитки по тарелкам, и на их конец не смотрела вовсе.

— Лен, — негромко сказала Аня. — Ты закусывай.

— Я закусываю, — сказала Ткачук.

Она повернулась к Ане, и глаза у неё были уже пьяные и злые, но злые не на Аню.

— Я нормально, — сказала она. — Ты чего.

— Ничего.

— Вот и ничего.

Она отвернулась к окну, за которым не было видно ничего, кроме отражения столовой, и в этом отражении опять нашла Романа, и смотрела на него уже в стекле.

Мокшин с Пестовым вышли курить, и за столом стало тише.

Аня смотрела на торец, где сидела Нина Петровна. Дом Ирины стоял на Заречной, третий от угла, с крашеными синим наличниками; она сама их красила позапрошлым летом и сама лазила на стремянку. Теперь дом надо было или топить, или спускать воду из системы, и Аня подумала, что об этом наверняка никто не подумал и что сказать надо всё-таки Сурина.

Она хотела сказать об этом вслух и не сказала, потому что за столом говорить про трубы в чужом доме было рано.

В седьмом часу пришла Вера Максимовна Хомутова.

Гул сел не сразу, а как садится: сначала перестали говорить за первым столом, потом за вторым, потом дошло до конца.

Она вошла в пальто и в платке, не раздеваясь, прошла к торцу, где сидела мать Ирины, и поставила на стол свой стакан — гранёный, принесённый с собой, налитый из своей бутылки, накрытый сверху ломтем хлеба. Поставила, постояла секунды три, кивнула Нине Петровне и пошла обратно к дверям.

Никто её не остановил, и никто не сказал «сядь, помяни».

Дверь стукнула, потянуло холодом по полу, и через минуту в столовой снова стоял гул, и женщина напротив Ани договорила про уколы с того самого места, где остановилась.

Аня посмотрела на стакан.

Он стоял у торца, накрытый хлебом, и никто не убрал его до конца вечера.

Расходиться начали в восемь. Мужчины выходили курить на крыльцо и обратно уже не садились. Мокшин ушёл первым, громко, попрощавшись со всеми сразу от дверей. Пестов ушёл молча. Роман помог составить столы обратно к стене и ушёл в котельную, потому что в девять ему было заступать.

Аня отнесла посуду в мойку и помогала Лоскутовой убирать банки, когда к ним подошёл Сурин, застёгиваясь.

— Анна Сергеевна. Дело есть.

— Слушаю.

— К вам в конце недели придёт человек. Механик, который у нас по котельной. Ему надо посмотреть, что у вас с отоплением, — подвал, узел, батареи. Пустите его везде, куда попросит.

— Пушу.

— Он молодой, — предупредил Сурин таким тоном, будто это был диагноз. — Но, кажется, толковый.

— Пушу, Павел Игнатьевич.

— И, Анна Сергеевна. — Он помолчал. — Скажите там своим, чтобы не бегали через бугор к водокачке. Дорога есть дорога.

— Скажу.

Аня надела пальто и вышла.

На улице было тридцать. Небо расчистило, дым из котельной шёл прямой, и звук её стоял над посёлком ровный, как всегда.

У своей калитки Аня обернулась.

В столовой ещё горел свет, и в крайнем окне было видно, как Елена Ткачук стоит у стола одна и наливает себе сама.

Глава 4

Письмо

Почта в Шалге работала по четвергам, с десяти до часу.

Мешок привозили с автобусом во вторник, он двое суток лежал в администрации за сейфом, а в четверг Люся Кириллова открывала комнату с фанерной перегородкой, вешала на гвоздь табличку «Отделение» и начинала выдавать.

К десяти под дверью стояло человек пятнадцать.

Пятков пришёл в половине одиннадцатого, потому что ему передали, что на него есть. Он встал в конец очереди, и очередь пошла быстро: пенсию привозили в другой день, а сегодня были только газеты, квитанции и то, что кому написали.

Газет выписывали шесть штук на посёлок. Четыре из них брала Лоскутова для библиотеки.

Она стояла перед ним, маленькая, в мужской ушанке, и держала под мышкой холщовую сумку, в которую эти газеты складывала.

— Вы механик, — сказала она, не оборачиваясь.

— Механик.

— У меня в библиотеке одиннадцать градусов.

— Библиотека где?

— В клубе, второй этаж, направо.

— Посмотрю.

— Все говорят «посмотрю», — сказала Лоскутова спокойно. — Я четвёртый год смотрю.

Очередь стояла плотно, потому что в коридоре было тепло, а на улице нет, и уходить никто не спешил. Говорили о том же, о чём говорили вчера в столовой, только короче.

— Из района писали чего-нибудь? Про фельдшера.

— Люсь, ты посмотри, может, есть.

— Нету, — сказала Люся из-за перегородки. — Я бы сказала.

— Ну а ФАП-то откроют?

— Люди, я почта, — сказала Люся. — Я не район.

Кто-то засмеялся, и на этом тема кончилась, потому что все понимали, что она кончится ничем, и незачем было её тянуть.

— Пятков? — сказала Люся, роясь. — Есть. Переслали.

Конверт был обычный, дешёвый, с маркой. На нём стояли два адреса. Первый — конторы в Петрозаводске — был перечёркнут одной чертой, а сверху чужой рукой, шариковой ручкой, было дописано: «Шалга, котельная, Пяткову А.».

Обратный адрес был написан так, как их учат писать: индекс, область, район, посёлок, учреждение, отряд, фамилия, имя, отчество полностью. В левом верхнем углу стоял штамп учреждения и чья-то подпись наискось.

— Распишитесь вот тут, — сказала Люся и уже смотрела мимо него, на следующего.

Он вышел на крыльцо и распечатал конверт большим пальцем.

Внутри лежал сложенный вдвое тетрадный лист в клетку. Почерк был крупный и ровный, буквы стояли отдельно, как пишут те, кому некуда торопиться.

«Алексей, адрес мне дали, и не спрашивай кто.

Здесь тихо, тише, чем было у нас, и я наконец сплю.

Говорят, ты опять уехал туда, где мало людей и нет связи.

Отвечать не надо.»

Ниже стояла фамилия. Больше на листе ничего не было — ни числа, ни просьбы, ни того, что обычно пишут люди, которым дали одиннадцать лет.

Пятков перечитал два раза, сложил лист по тем же сгибам и убрал в карман.

В третьем предложении было слово «говорят». Он подумал, кто там мог говорить и с кем, и получилось, что вариантов немного и все они простые: контора, суд, райотдел, чей-нибудь сосед по бараку, у которого свояк работает в конторе. Ничего особенного в этом не было. Так узнают всё.

Мороз брал за пальцы, и он надел рукавицы.

По улице шла женщина с санками, на санках стоял бидон: воду возили с колонки у магазина, потому что в двух домах перемёрзли вводы. Из трубы котельной шёл дым, прямой и белый. Всё было ровно так же, как пять минут назад.

Сурин поймал его у администрации, когда он проходил мимо.

— Зайдите.

В кабинете было по-прежнему жарко, и на столе лежал его вчерашний лист, развёрнутый и уже с пометками карандашом.

— Девятнадцать пунктов, — сказал Сурин.

— Двадцать. Я один дописал.

— Какой?

— Решётку на приямок водокачки.

Сурин посмотрел на него, помолчал и сделал вид, что не расслышал.

— Соль я закажу, привезут в пятницу автобусом, мешков не обещаю больше двух. Электроды и лист — через леспромхоз, у них база в райцентре, там всё есть, надо только чтобы кто-то оттуда поехал в нашу сторону. Мокшин ходит за лесом, я с ним поговорю.

— Мне нужны секции.

— Секций я вам из воздуха не сделаю.

— На комбинате, в третьей котельной, стоят четыре таких же котла.

Сурин отложил карандаш.

— Их растащили в пятнадцатом году.

— Секции не таскают, — сказал Пятков. — Их не поднять вдвоём. Таскают латунь и алюминий.

Сурин смотрел на него секунды три, и в эти три секунды в нём было видно человека, который двадцать лет отвечал за большое хозяйство и до сих пор помнил, где что лежит.

— Ладно, — сказал он. — В субботу. Я скажу Кузьмичу, он вас пустит. И Ромку возьмите, он там всё знает.

— Хорошо.

— И вот что, Алексей. — Сурин постучал пальцем по листу. — К двадцатому чтоб оба котла.

— Если будут секции — будут котлы.

— Мне не «если», — сказал Сурин. — Мне двадцатого.

День прошёл на втором котле.

Пятков разбирал обмуровку с задней стороны — выбирал кирпич, чистил, складывал целый отдельно, битый отдельно. Работа была тупая и пыльная, и делать её надо было всё равно, потому что без неё нельзя было подобраться к стяжным болтам. Роман, отбросив уголь, приходил и работал молча рядом, и вдвоём выходило втрое быстрее.

Болты сидели много лет и сидели насмерть. Их поливали керосином, били по головке через выколотку, грели паяльной лампой и опять поливали. Гайка на таком болте не откручивается — она либо идёт, либо срывает грани, а если сорвать грани, то дальше только резать, а

резать было нечем: газа в баллонах оставалось на доньшке, и баллоны эти в Шалге тоже никто не менял.

Поэтому били аккуратно и ждали.

— Ты его не жалея, — сказал Роман. — Он не живой.

— Я не его жалею. Я головку жалею.

К темноте один пошёл. Он тронулся с треском, и оба это услышали.

— Один из шести, — сказал Пятков.

— Ну.

Между делом он вышел завести машину.

Машина стояла у общежития под снегом, старый узик конторы, и он ставил её носом к дороге, потому что разворачиваться потом было бы нечем. Он принёс аккумулятор из комнаты, поставил, подкачал ручным насосом топливо, и она схватилась с четвёртой попытки и потом минут двадцать тряслась и гудела на холостых, а он сидел внутри и смотрел, как оттаивает пятно на стекле, размером с ладонь.

Ездить ему было некуда. Он заводил её через день, чтобы она вообще была.

К шести Роман ушёл спать, потому что ночь была его.

Пятков ещё час чистил кирпич, потом бросил, вымыл руки в тазу и полез на крышу.

Лестница шла по торцу — стальные скобы, заделанные в кирпич, обмёрзшие сверху. Крыша была плоская, засыпанная шлаком, и шлак под снегом лежал буграми. Он прошёл к трубе, встал с подветренной стороны и вынул телефон из-под ватника, где держал его весь день, чтобы не сел.

Одно деление. Иногда два.

Это была единственная точка в Шалге, где ловило: труба стояла высоко, и в неё что-то приходило с той стороны озера, откуда — никто не знал, но все ходили сюда, и на крыше в снегу были натоптаны тропинки к трубе с четырёх сторон.

Он набрал.

— Ты? — сказала Юлия Пивоварова.

— Я.

— Слышно, будто ты в трубе.

— Я у трубы.

— Логично.

Она помолчала, и в этой паузе было слышно, как у неё там что-то шумит — чайник, вода, город.

— Ты где вообще?

— Посёлок Шалга. Онежское озеро, восточный берег.

— Это где?

— Восемьдесят километров от всего.

— Понятно, — сказала Юлия. — А связь?

— На крыше котельной.

— Ты сейчас на крыше?

— Да.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда я быстро.

Она говорила быстро всегда, когда собиралась сказать что-то, чего стеснялась. Он это уже знал.

— Я дописала одиннадцатую. Осталось две. Издательство говорит, что к весне.

— Это хорошо.

— Это ужасно, Лёш. Я не знаю, чем это кончать. У меня всё кончается тем, что её нет, а это не финал, это просто факт.

— Факт — нормальный финал, — сказал Пятков.

Юля засмеялась коротко, без веселья.

— Ты бы книжку не написал.

— Не написал бы.

— Тебе там холодно?

— Тридцать.

— Тридцать чего?

— Минус.

— Ужас какой, — сказала она с интересом. — А ты чего там делаешь?

— Котёл перебираю. Два котла. Один работает, второй лежит.

— И если ты его не переберёшь?

— Тогда посёлок замёрзнет.

— Не смешно.

— Я не шучу, — сказал Пятков. — Тут четыреста человек и одна труба.

Юля помолчала.

— Ты умеешь успокоить.

— Слушай. — Она опять помолчала. — Мне нужно про Ладогу одну вещь уточнить. Не сейчас. Когда вернёшься, ладно?

— Ладно.

— И я тебя туда не вставляю. Я обещала и не вставляю.

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь, — сказала Юля. — Ты далеко, и у тебя одна палка.

Связь пропала на слове «палка». Он подождал, набрал ещё раз, услышал два гудка и тишину и убрал телефон обратно под ватник.

Внизу лежала Шалга: два фонаря, десяток окон, чёрный комбинат слева и белое поле озера справа. Дым из трубы шёл в метре от него, и от него тянуло теплом и серой.

Он постоял на крыше ещё минуту, потому что там было на что смотреть.

Внизу, у входа в администрацию, горела лампочка над крыльцом, и под ней на стене висел термометр. С крыши его было не разглядеть, но он и так знал, что там: утром было тридцать, к ночи будет тридцать один или тридцать два. Мороз в этих числах ходил ровно, как поезд.

Он спустился по скобам, держась голыми пальцами по две секунды, не дольше.

В общежитии на первом этаже сидела вахтёрша Валентина Фёдоровна и смотрела телевизор, который брал две программы через антенну на палке. Она кивнула ему, не отрываясь.

— Воду в умывальнике не открывай, — сказала она. — Замёрзло. Бери в ведре.

— Хорошо.

— И плитку не жги, у нас пробки.

— Хорошо.

Плитку жгли все.

— Ты один на этаже, — сказала она, всё так же не отрываясь от телевизора. — До Нового года стояли связисты, шестеро, столбы меняли на зимнике. Шумели. Потом уехали и не доделали.

— Много не доделали?

— Двенадцать столбов, говорят.

— А связь была бы?

— Связь, — сказала Валентина Фёдоровна, — была бы, если б доделали.

Она подумала и добавила:

— Ирку, может, и вытащили бы. Кто ж её услышит, если она там кричала.

Сказала она это без всякого нажима, как говорят о том, что давно обдумано, и опять повернулась к телевизору.

В комнате было жарко от батареи и холодно от окна, и между этими двумя вещами приходилось как-то устраиваться. На батарее сохли валенки. В углу на газете стоял аккумулятор от его машины: он снял его в первый же вечер и таскал в комнату, потому что машина на улице к утру превращалась в железо.

Он поставил чайник на плитку, нарезал хлеба, открыл банку тушёнки и поел, глядя в стену.

Стена была крашеная, в два тона: низ синий, верх белый, и граница между ними шла на высоте метра двадцати, ровно, как её провели году в восемьдесят пятом. В таких комнатах он жил третий год подряд, и они везде были одинаковые, до гвоздя за дверью.

Потом достал письмо и перечитал ещё раз.

Отвечать было не на чем. Бумаги в общежитии не было, конвертов в магазине не продавали — он спрашивал в первый день, когда искал скотч, — а почта работала по четвергам, и до следующего четверга было далеко.

Он сложил лист, вложил обратно в конверт и убрал в боковой карман сумки, где лежали квитанции, паспорт и договор с администрацией.

Потом снял с батареи валенки, поставил вместо них другие и лёг.

Глава 5

Ручник

В пятницу приходил автобус.

Он приходил в одиннадцать, если приходил, и в этот раз пришёл в двадцать минут двенадцатого — старый «пазик» на высоких колёсах, весь в белой корке, с обмёрзшими фарами. Из него вылезли четверо и выгрузили хлеб, ящик с крупой, две коробки лекарств для несуществующего ФАПа и два мешка соли для котельной.

Автобуса в Шалге ждали не так, как ждут автобус.

К остановке стягивались минут за сорок, стояли, топали ногами, курили в рукав. Приходили и те, кому ехать было некуда: посмотреть, кто приехал, взять посылку, узнать, что говорят в районе. Кто-то передавал деньги водителю и список — водитель покупал в райцентре по спискам и брал за это по-божески.

Ящик с лекарствами выгрузили на снег, и вокруг него постояли.

— Это куда?

— В ФАП.

— ФАП закрыт.

— Ну а в накладной ФАП.

— Так и что теперь, обратно везти?

Ящик унесли в администрацию и поставили в коридоре у батареи, потому что в нём могло быть что-нибудь, чему нельзя мёрзнуть, а разбираться было некому.

Мешки Пятков забрал сам, на санках, двумя ходками.

Соль была та самая, таблетированная, в синих мешках по двадцать пять килограммов. С ней можно было наконец отмыть фильтр и начать умягчать воду, и толку от этого посёлок бы не заметил, а котёл заметил бы очень.

Он катил вторую ходку мимо гаражей, когда его окликнули.

— Слышь! Механик!

У крайнего бокса стоял лесовоз. «Урал» с прицепом-ропуском, кабина оранжевая, когда-то, борта в наледи, стойки коников с намёрзшей корой. Капот был поднят. Возле него, спиной к ветру, топтался Сергей Мокшин в распахнутом полушубке, и от него шёл пар.

— Ты ж механик?

— По котлам.

— Так у меня тоже котёл! — обрадовался Мокшин. — Только маленький.

Он говорил громко даже тогда, когда рядом никого не было, и это было не от невоспитанности, а от двадцати лет в кабине, где надо перекрикивать двигатель.

Речь шла про подогреватель.

На «Урале» стоял ПЖД — предпусковой подогреватель: маленький котелок под двигателем, со своей горелкой, своим насосиком и своей свечой, который гоняет по рубашке горячий тосол и за полчаса делает промёрзший мотор тёплым. В минус тридцать без него завестись нельзя. Совсем.

— Не разжигается, — сказал Мокшин. — Второй день. Я его паяльной лампой снизу грею, а он не хочет.

— Паяльной лампой под баком?

— Ну а чем.

— Ничем. Потом сгоришь вместе с лесом.

— Так и не сгорел же пока.

Пятков поставил санки с солью к стене, чтобы не намокли, и полез смотреть.

Смотрели час.

Первым делом слили из отстойника — солярка пошла мутная, с белой муťou, как разбавленное молоко. Летняя.

— Ты летнюю заливаешь?

— Какую дают.

— Керосин добавляешь?

— Добавляю. Литров пять на бак.

— Десять добавляй.

Дальше сняли свечу накаливания. Спираль у неё была цела с виду, но, когда Пятков кинул на неё провод от аккумулятора, она не покраснела, а только чуть потеплела с одного края.

— Всё, — сказал он. — Спираль на выброс. Запасная есть?

Мокшин полез в кабину и долго рылся под сиденьем, выкидывая на снег тряпку, домкрат, монтировку, пакет с болтами и наконец коробочку, в которой лежали две свечи, обёрнутые в газету.

— Батя ещё покупал, — сказал он с гордостью. — Восемьдесят девятого года запас.

Свеча оказалась живая.

Потом вынули форсунку. Она была закоксована наглухо: отверстие в ней размером с волос, и в этом волосе сидела чёрная смола. Пятков размочил её в бензине, прочистил щетинкой от корда, продул и поставил обратно, и ещё раз прочистил топливный фильтрик, который был забит парафином, как салом.

Мокшин всё это время стоял рядом и подавал не то, о чём просили, но подавал быстро.

Работать приходилось короткими заходами. Пятков снимал рукавицу, делал то, что можно сделать за минуту, надевал обратно и держал руки под мышками, пока не отпустит. Металл на таком морозе прилипает к пальцам, и это не больно в тот момент, когда происходит, а больно потом. Ключ он грел за пазухой, потому что холодный ключ на холодной гайке — это два холодных предмета и никакого толку.

Мокшин между делом сходил в бокс и принёс кусок войлока, чтобы стоять на нём коленями.

— Ноги береги, — сказал он. — Руки-то ладно, руки у всех.

— Пробуй.

Мокшин залез в кабину, щёлкнул тумблером, подождал двадцать секунд, дал топливо.

Под днищем ухнуло, и из выхлопной трубки подогревателя пошёл белый дым, ровный, с гудением, как в маленькой печке.

— О, — сказал Мокшин.

— Двадцать минут гоняй, потом заводи.

— Слушай, — сказал Мокшин, вылезая. — Ты человек. Ты просто человек. Я тебе четвертинку должен.

— Не надо четвертинку.

— Надо. Не мне решать.

Он полез в кабину греться, и Пятков полез следом, потому что руки уже не гнулись.

В кабине пахло соляркой, куревом и сушёными портянками. На торпедке лежали пачка сигарет, детская варёжка непонятно откуда и наклеенная поверх щитка бумажка с телефоном базы леспромхоза. За сиденьем висел валенок.

Мокшин закурил, приоткрыв стекло на палец.

— Ты, значит, у Ромки в котельной сидишь.

— Сижу.

— Ромка мужик хороший. Молчун, но хороший. — Мокшин выпустил дым в щель. — Я с ним в одном классе учился. И с Ленкой, и с Валькой Сорокиной, она в Питере теперь, кассиршей. И с Иркой вот, которую хоронили. У нас в классе четырнадцать человек было, представляешь? Четырнадцать. А сейчас во всей школе сорок.

— Представляю.

— Ничего ты не представляешь, — сказал Мокшин добродушно. — Ты в городе рос.

Он помолчал, и это было у него редко.

— Ирку жалко до невозможности. Она мне Витьку выхаживала, когда у него воспаление было, четыре ночи сидела. Четыре ночи, механик. Я ей потом дрова привёз, а она ругалась.

— Отчего ругалась?

— Оттого что дура была. Хорошая дура. — Мокшин пожевал сигарету. — А теперь у нас ни фельдшера, ни аптеки, и коробки её лекарственные лежат в администрации, и никто их не откроет, потому что никто не знает, чего в них.

Он потянулся мимо Пяткова к рычагу справа от сиденья.

— Вот, кстати. Раз ты уж тут. Погляди мне ручник.

Рычаг был большой, изогнутый, с гашеткой, и уходил вниз, под пол, к тягам. Мокшин взялся за него и потянул на себя. Рычаг пошёл туго, с двумя щелчками, и на втором щелчке Мокшин упёрся плечом.

— Во. Чувствуешь?

Пятков взялся сам. Рычаг стоял как приваренный. Он потянул сильнее, и тот сдвинулся с хрустом, коротко, будто внутри что-то ломалось, и встал на храповике.

— Его двумя руками надо, — сказал Мокшин. — Утром, пока не отойдёт, я его вообще с матерком поднимаю. И назад так же: жмёшь гашетку и толкаешь от себя, а он стоит. Пока не пихнёшь как следует — не пойдёт.

— Тяги закисло. И трос. Их смазать надо, а лучше снять, промыть и собрать заново.

— Долго?

— Полдня. С подъёмником — час, а у нас подъёмника нет, значит, полдня и на спине в снегу.

Мокшин махнул рукой.

— Ну и ладно. Он же держит.

— Держит.

— Держит намертво, — сказал Мокшин с удовольствием и хлопнул по рычагу ладонью.

— Он у меня не то что не спускается — он сам не отпустит, хоть год стой. Я его на горке ставлю без колодок, и ничего. Другие вон подкладывают, а мне не надо.

— Всё равно смазать надо.

— После рейса, — сказал Мокшин. — Вот привезу лес, поставлю машину, и делай что хочешь. У меня ещё компрессор сопливит, глянешь?

— Гляну.

— Во. Человек.

Он выкинул окурок в щель и закрыл стекло.

— Слышь, а про лист-то. Мне Игнатьич говорил — тебе с базы железо надо?

— Лист восьмёрка, метр на два. И электроды, тройка, любые, лишь бы не сырые.

— В понедельник иду в район за лесом порожняком. Скажи Игнатьичу, пусть по накладной проведёт, я привезу. У меня в кузов хоть трактор.

— Скажу.

— И вот что. — Мокшин повернулся к нему всем телом, потому что шеей поворачиваться ему было неудобно. — Завтра баня.

— Мне в субботу на комбинат, за секциями.

— Так с утра и лезьте на свой комбинат. А к шести приходи. Я её сегодня с рейса приду и затоплю — с дороги надо, я всегда после дороги топлю. А завтра ещё раз, второй заход. Она у меня двухдневная выходит, я её два дня держу, и тогда там не жар, а мёд.

— Каменка какая?

— О! — сказал Мокшин. — Каменка полтонны. Камни с Онеги, сам возил, с Кобыльего мыса, там серый есть такой, слоистый, он держит, как утюг. Я за ними два раза мотоцикл угробил.

— Приду, — сказал Пятков.

— Вот и правильно. Витьку с собой возьму, пусть парится, а то он у меня как городской: моется в тазике.

Он завёл минут через двадцать.

«Урал» схватился не сразу: покрутил, чихнул, выдал чёрное облако, которое повисло в морозном воздухе и не поднялось, а осело на снег. Потом двигатель загудел ровно, и вся машина затряслась, и с бортов посыпалась наледь.

Мокшин высунулся из кабины.

— Механик!

— Что?

— Ты в баню-то приходи. Я серьёзно.

— Приду.

Лесовоз пошёл со двора на первой, медленно, и снег под колёсами визжал, как под валенком, только на два тона ниже. Прицеп-ропуск тащился следом, подпрыгивая на колее.

Пятков забрал санки с солью и покатыл дальше.

Фильтр он взялся мыть уже под вечер, когда управился с остальным.

Работа была мокрая и противная: смолу пришлось выгребать руками в резиновых перчатках, промывать, засыпать заново, и всё это в холодном углу, где от пола тянуло. К восьми фильтр встал на место, он подал на него воду, взял пробу и вечером сравнил её с той, что брал в среду. Разница была.

Роман пришёл в шесть, раньше своего.

— Толя как? — спросил Пятков.

— Никак. Ходит по стенке.

Он переоделся, посмотрел на синие мешки, поставленные у фильтра, и сказал:

— Соль привезли.

— Два мешка.

— Хватит?

— На месяц.

— А потом?

— А потом кто-нибудь опять привезёт.

Роман хмыкнул — это было у него вместо смеха — и пошёл к котлу.

Они добились ещё два болта. С четвёртым провозились до половины десятого: он не шёл ни в какую, и в конце концов Роман придумал надеть на ключ трубу и качать вдвоём, по очереди, с одной стороны он, с другой Пятков. Гайка пошла на третьем заходе.

Роман сел на ящик и подержал левую ладонь на трубе обратки, положив её плашмя и не сгибая пальцев.

— Ты подпитку смотрел? — спросил он.

— Смотрел утром.

— Я вечером записывал. Девять с половиной.

Пятков подошёл к разлинованному листу на стене. За неделю столбик рос: восемь, восемь, восемь с половиной, девять, девять с половиной.

— Растёт.

— Растёт, — сказал Роман.

— Значит, дыра растёт.

— Она всегда растёт.

Он сказал это без тревоги, как говорят о том, чего всё равно не миновать, и стал сматывать провод от переноски, поворачивая катушку правой рукой.

— Завтра на комбинат, — сказал Пятков. — Сурин говорил, ты знаешь, где третья котельная.

— Знаю.

— В девять?

— В девять светло уже. Давай в девять.

Он снял ладонь с трубы, сжал и разжал кулак и снова положил.

В блокноте у него к этому дню накопилось двадцать четыре строчки.

Он приписал внизу, под «клапан предохранительный — проверить»:

«Мокшин. Ручник — тяги и трос снять, промыть, смазать. Компрессор».

Строчка была последней. Список был длинный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.